

Анджела Ливингстон (Кольчестер)

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ «ЧЕВЕНГУР»

Когда два большевика берут кресты со старого кладбища на материал для плотины, которая строится для нового общества, они могут использовать дерево только после того, как убирают с него изображение Иисуса Христа: коммунизм выбрасывает эмблемы христианства, в то же самое время используя его базовые материалы. Какие христианские материалы используются для строительства чевентурского коммунизма? Комментаторы «Чевенгуря» проследили ссылки на Библию и показали большое влияние идей староверов; выявлены параллели между Александром Двановым и Христом. Некоторые из параллелей и мотивов, касающиеся Дванова, и будут рассмотрены в нашей статье.

Сравнение «Чевенгуря» с Евангелием должно начаться с единственного бесспорного указания на то, что Платонов имел в виду фигуру Христа, когда он сочинял характер Дванова. Это указание трижды не прямое и соотносит Дванова с персонажем другого романа, который напоминает не столько самого Христа, сколько подобную Христу фигуру, к тому же сочиненную не автором романа, но другим персонажем в этом романе. М. Геллер первый соотнес легенду о Великом инквизиторе Достоевского и эпизод 24 главы «Чевенгуря», где Дванов и Прокофий вместе идут в туманную степь и беседуют. Среди черт, которые указывают на сходство с Великим инквизитором, назовем следующие: полное уединение встречи героев и их начальная неловкость друг с другом; тот факт, что это их первый серьезный разговор; то, что один из них почти молчит, в то время как другой изливает свои мысли; предмет разговора — идеальное общество; и — основная мысль выражена Прокофием. Его план — сосредоточить все товары Чевенгуря в своих руках, затем распределять их в массах постепенно — в результате чего «они нас будут любить» и будут довольны — оставляя только

одного человека в одиночестве и ответственности — самого Прокофия: «Только одному первому плохо — он думает». Все это сильно напоминает о Великом инквизиторе так же, как и поцелуй, которым Александр целует брата — правда, на этот раз не в девяностолетние, но тем не менее, в «сухие огорченные губы». Заметим также, что единственный ответ Александра на проект Прокофия — несколько грустных слов о том, что Прокофий будет несчастен. И этот ответ эквивалентен тому, что у Достоевского Христос целует Великого инквизитора. Последовавшая на этот жест реакция Прокофия также напоминает Достоевского: Великий инквизитор велит Христу уйти и никогда не возвращаться. Прокофий, мысленно отсылая Александра, думает: «...такой человек — напрасное существо, он не большевик, он побиушка с пустой сумкой, он сам — прочий...» Прокофий уверен, что лучше говорить со старым Яковом, чем с Александром, который «только излишне чувствует человека, но аккуратно измерить его не может». Эта мысль Прокофия, данная в непрямой речи, повторяет мысль в непрямой речи Александра страницей раньше: «Но Дванов не знал, что хранится в каждом теле человека, а Прокофий знал почти точно, он сильно подозревал безмолвного человека». Как это часто происходит в романе Платонова, свойства Александра описываются негативно (он «не знал»), в то время как их контраст с позитивно описанными, но непривлекательными свойствами другого, предлагает их положительную оценку. Интересно также, что сразу после процитированного выше отрывка агрессивные обобщения Прокофия о природе населения русской деревни (горе для них только обычай... и т. д.) сталкиваются с беспомощными воспоминаниями Александра о «многих деревнях и городах и многих людях в них»: в отличие от Прокофия, Александр привязан к подробностям своих переживаний и так же, как Чепурный, не умеет мыслить обобщениями, потому что всегда помнит реальные детали мест, событий, людей.

Платонов обрамляет диалог между сводными братьями с необычайной отчетливостью и тщательностью. В экспозиции эпизода указано, что оба человека уходят далеко от всех и «над ними, как на том свете, бесплотно влеклась луна и голоса их почти смолкли от дальности», — мы, читатели, тоже оказываемся оставлены позади, понимая, что герои передвинулись в особое недостижимое пространство. Отметим и элемент рамки диалога. Как веху и в начале данного диалога, и в конце его Платонов помещает Копенкина. Значимая деталь: по возвращении в Чевенгур Александр и Прошка находят Копенкина спящим. Необычайно тщательное обрамление данного диалога говорит о его важности и, следовательно, о важности всей христианской параллели.

Подробнее остановимся на образе Александра Дванова. Александр не проповедует, не предсказывает (кроме одного раза, нехарактерного), не говорит притчами и не советует кому-либо строить свой дом на камне — напротив, он одобряет передвижку домов в Чевенгуре. Однако традиционного Христа напоминает во многих отношениях именно этот герой романа. Назовем некоторые параллели.

Отец Александра безымянен и ассоциируется с бесконечностью. Рыбак утопился, чтобы узнать, что рыба знает о смерти, — это кажется сначала эксцентричным и разрушительным. Однако смерть рыбака описывается так: «...навсегда скрылся в глубине озера Мутево, желая раньше времени увидеть будущее утро», и «превратил <свою жизнь> в смерть, чтобы заранее испытать красоту того света». Таинственный, безымянный, любимый отец — в другом мире. Одержанность отца тай-

ной рыбы заставляет вспомнить рыбу как традиционный знак Христа. Более того, указание отца-рыбака на рыбу: «Вот — премудрость!» предполагает, что рыба имеет трансцендентную мудрость, поскольку «премудрость» — это «София» (мудрость Христа и имя девушки, которую любит Дванов), и это Слово произносится в ключевые моменты православной литургии.

Остановимся на двух центральных характеристиках героя. Во-первых, Дванов подчеркнуто не эротичен. И этим продолжает линию князя Мышкина Достоевского, особенно того Мышкина, которым восхищается Платонов в статье 1920 г.: «Мышкин — родной наш брат. Он вышел уже из власти пола и вошел в царство сознания». У Дванова по-другому (чем у других героев) направлено «то темное волнение, которое бывает у взрослых людей при единственной любви к женщине»: его единственная любовь чиста, и его единственые два сексуальных акта (один с самой землей, другой с земной хозяйкой) — мощные, но смертные, трагичные и не повторяющиеся. Второе свойство Дванова — сочувствие — также отсылает к Мышкину, хотя и по-другому: Мышкин «еще не знает», писал Платонов в 1920 г., «что сожаление — не в любви к хилому, а в борьбе, превращении хилого в сильно-го». Но кажется, что Дванов напоминает именно того Мышкина, который *неправильно* направляет свою жалость; само слово «хилый» повторяется, когда сочувствие Дванова «любой жизни» показывается на примере сочувствия героя — «слабости хилых трав». Дванов чувствует необычайное сострадание вокруг себя ко всему — даже к забору: видя, как забор стоит там совсем один, он идет и «тоже стоит один где-нибудь без всякой нужды». Тот факт, что Дванов на самом деле любит не женщину, но весь мир, понятен из многих эпизодов романа и явно описан во фрагменте, когда он, разговаривая вслух, идет один «в открытых местах» за городом, «как любовник... в темноте любви со своей любимой». Повторение в четырех строчках слова «любовь» четыре раза напоминает лирические повторы в Песне Песней, а слово «темнота» напоминает фразу о «темном волнении».

Как и Христос, Дванов ходит с места на место под открытым небом и, хотя не плавает на лодке, он мечтает о лодке, и вода часто ассоциируется с Христом. Еще более важен тот факт, что, как и у Христа, у Дванова есть миссия — каждое движение героя это следствие его *послания или призыва*. Его *посылают* жить с семьей Двановых, затем *отсылают* от них на поиски еды; его *призывают* жить с Захаром Павловичем, а позже (на пороге взрослоти) Саша посылается в мир Захаром Павловичем с напутствием: «Помни — у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут, — тут великое дело...» Это как будто Захар Павлович на самом деле тихо говорит: «Хотя ты и никто, тебя посылают спасти мир». Затем — и это главная его «посылка» — Шумилин посыпает Александра в русскую провинцию на поиски коммунизма («райя на земле»), и позже — это другой главный «приказ» — его посыпают в Чевенгур. Приказ, которому он подчиняется только после того, как во сне видит, что туда посыпает его отец, который как бы повторяет предыдущее напутствие Захара Павловича, говоря: «Сделай что-нибудь в Чевенгуре: почему мы должны лежать мертвыми?» Таким образом, косвенно, тихо, как бы во сне Александр посыпается в Чевенгур воскрешать мертвых.

Конечно, имеется параллель между христианской моралью и чевенгурским большевизмом, особенно, в общей уверенности, что богатый человек не попадет в рай. «Отдай все, что имеешь», — говорит Христос, и Дванов радуется, что люди остались «чистым полем» — «не нивой, а порожним местом», без товаров, культуры

ры или знания. За этими словами, кстати, следует фраза: «и Дванов не спешил ничего сеять», которая может напомнить притчу о сеятеле и, несомненно, предполагает, что Дванов в положении «сеять» или «не сеять» — несмотря на его тихий, незаметный способ существования. Все жители Чевенгуря в своей атеистической манере и на своем языке, по сути дела, повторяют предписание Евангелия жить, как растения и птицы — без собственности, планов и забот.

Многие мотивы и эпизоды «Чевенгуря» подтверждают близость к Евангелию. Например, приезд Дванова в Чевенгур сопровождается первым и единственным звоном церковных колоколов: под пасхальный звон он въезжает верхом в город, где позднее он добровольно умрет и будет искать чего-то вроде воскресенья. Звук колоколов обрамляется таким ощущением Дванова: «...отказаться от своего состояния и уйти вперед», которое может принадлежать как коммунизму, так и христианству. Красноречивы и числа: не раз повторяется, что именно одиннадцать большевиков управляют делами в Чевенгуре (на значимость этой детали указали М. Геллер, В. Ристер). Появление в Чевенгуре Сербина составляет число двенадцать, и, возможно, доклад Сербина в Москву ведет к разрушению Чевенгуря и всей его надежды (так же, как и косвенно к смерти Дванова). Сербина легко соотнести с Иудой. Это подчеркивается в символическом, даже трагическом характере встречи Дванова и Сербина. Хотя Копенкин выехал вперед, чтобы проверить незнакомца, Дванов рассматривает встречу как свою личную: «Двое людей стояли почти в упор друг перед другом». Лаконичны в своем драматизме реплики, которыми обмениваются Дванов и Сербинов: «Вы кто? Вы зачем явились в Чевенгур? — спросил у него Дванов».

Есть еще много отдельных эпизодов, мотивов и фраз, напоминающих об Евангелии. Скажем лишь о двух. Вскоре после встречи сводных братьев во взрослом возрасте Прокофий, вспоминая их детство, говорит Александру: «Ты просил еды, и тебе ее не дали». Явная отсылка к словам Христа: «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть». Или описание убийства Сербина, у которого вспороли живот: «...и оттуда ничего не вышло — ни крови, ни внутренностей». Это описание, во-первых, контрастирует с тем, что случилось, когда один из солдат проткнул копьем мертвого Иисуса («и тотчас истекла кровь и вода»), во-вторых, с тем, как течет «чистая прохладная кровь» из Сашиной головы, когда его ударяет Кондаев и т. д.

Три крупных образа имеют отношение к нашей теме: *сознание, пустота и работа*. Александр в романе уникально сознителен и обладает уникальным самосознанием. Именно кризис сознания в возрасте семнадцати лет соединяет его с образами пустоты, которыми переполнен весь текст романа. Однажды вечером Дванов ощущает, что внутри него «какое-то порожнее место, — та пустота, сквозь которую тревожным ветром проходит неописанный и нерассказанный мир...» И кажется, что именно об этой пустоте, из которой состоит сам мир, Александр и говорит, неожиданно громко и сознательно: «Вот это — я!»

Город Чевенгур также полон пустоты: пустая степь; город, покинутый обитателями; мир, опустошенный от всего, кроме видения и надежды. Эта пустота часто ужасна. Так Захар Павлович боится, что люди только черви, а черви это лишь пустые трубки (это умозаключение Захара Павловича вспоминается, когда накануне самого коммунизма Чепурный ощущает ночь «пустой» и вспоминает отвратительное ощущение червей из своего детства). Эта параллель просматривается и в эпизоде, когда Дванов встречает человека, которого зовут «богом» и который ест

только землю, напоминая таким образом червя. Когда в Чевенгуре звонят пасхальные колокола, мы читаем, что люди теперь имеют «вместо имущества и идеалов» только *пустое* тело, и это констатируется с типичной платоновской мрачной меланхолией. Однако, пустое от *чего*? (Наше тело — и тело червя — наполнено твердым веществом.) Пустое от имущества и идеалов? Но нас хорошо научили, что имущество нежелательно, а герои Чевенгура, кажется, не лишены идеалов. Без сомнения, печальное употребление слова «пустой» является оборотной стороной положительного употребления того же слова — подобно боли, сопровождающей какую-то трудную добродетель. Мы уже слышали об этой добродетели, когда Захар Павлович говорил молодому Александру, что «большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться». Из-за такой пустоты юноша и вступает в партию большевиков и делает это, как становится понятно, не от доводов марксизма, а от сострадательной любви, потому что он верит:

«...революция — это конец света. В будущем же мире мгновенно уничтожится тревога Захара Павловича, а отец — рыбак найдет то, ради чего он своевольно утонул. В своем ясном чувстве Александр уже имел тот новый свет...»

Герой Платонова, глубоко сознающий свою пустоту, в том же смысле *полный* — *наполненный* — поскольку, как пишет Платонов, он уже имел в себе тот новый мир.

Наконец, работа. Только после того, как Дванов присоединяется к чевенгурскому коллективу, и благодаря ему и его другу Гопнеру, запрещение Чепурного работать (поскольку работа ведет к капитализму) превращается в совсем новую идею труда — райский ее вариант: это работа не эксплуататорская, а скромная и альтруистическая. Каждый в Чевенгуре начинает работать, и каждое дело выполняется на благо других, начиная с предоставления еды и кровя больному Якову (одному из «хилых»). Те несколько страниц в конце романа, которые описывают этот коллективный воодушевленный труд, — это и есть успешное (хотя временное) достижение Чевенгурского коммунизма, и в то же время — рая на земле (если заменить часто употребляющееся слово «товарищество» на «любовь» и если заметить много выражений блаженного счастья, — часто представленного как «наслаждение» в соответствии с любимой мыслью Платонова о неразделимости тела и души). Когда Гопнер «с экономическим сладострастием труда» слушает визг машины, «у него накоплялась слюна во рту от предчувствия блага для Якова Титыча...» Что происходит с Двановым, когда он работает, еще более показательно.

«А ты думаешь пища с революцией сживется? Сроду нет», — говорил раньше умный Гопнер. Этому умозаключению соответствует возражение Чепурного против работы: лучше не работать и не есть — вот его философия. Но теперь, в новом Чевенгуре, Дванов в процессе работы становится так счастлив, что перестает есть. Образ тяжелой работы, выполняемой не только *не* для выгоды, но даже и не для того, чтобы есть, — это образ абсолютного альтруизма как в большевистском, так и в христианском смысле. Дванов добавил к определению коммунизма Чепурного христианскую благотворительность (каритас) и уважение к работе и рабочему, которые обычно ассоциируются с марксизмом (эти идеи двановского коммунизма отсылают к статье Платонова 1921 года «Да святится имя твое»). Более того, на вершине счастья альтруистического труда сильно похудевший Александр, замечает

Платонов, делится самим своим телом со всеми другими через свой труд: «И Дванов уделял им свое тело посредством труда». Сравним: на Вечере господней, раздавая ученикам, сказал Христос: «примите, ядите, сие есть тело мое». (Если изображения Христа и удалили с крестов, то «материал» христианства был на самом деле основательно использован.)

* * *

К чему ведут предложенные параллели, я еще не знаю. Фигура Александра Дванова до сих пор для меня загадка, и я завершаю статью коротким замечанием об одном аспекте этой загадочности.

Об имени героя. К уже предложенным интерпретациям добавлю одну: она является комментарием к самой себе. Двойственность героя, на которую мы все ссылаемся — это его собственная двойственность, будучи и именем Александра, и не его именем. Подлинная фамилия героя неизвестна. Примечательно, что его регулярно называют Двановым, хотя это не его фамилия, в то время как его сводного брата, которому принадлежит эта фамилия, почти всегда зовут данным ему именем Прокофий. Это странно: как будто Александр, униженный из-за отсутствия фамилии, в то же время возвышен оттого, что берет себе чужую. Более того, хотя Прокофий вполне взрослый в обычном смысле — сексуально зрел и активен, лингвистически развит, компетентный политик (посредник между Чевенгуром и «центром»), с деловой смекалкой и реалистическим планом социального и экономического будущего — он тем не менее представлен как менее зрелый, потому что его всегда зовут просто по имени. В то время как Александр, лишенный всех этих взрослых качеств, имеет взрослое имя и поэтому воспринимается как более взрослый. Имя «Дванов» прозрачно, как кусок стекла. Если глаз останавливается на нем, он видит неродную семью, недоброго брата и бюрократа, а также само абстрактное понятие «двойственности». Но если смотреть сквозь него, можно увидеть таинственную личность — Александра.

(The present article is a product of research funded by THE LEVERHULME TRUST)